

Два медведя в одной берлоге

Когда так говорят – подразумевают, что не могут ужиться вместе люди одной профессии, схожего темперамента, особенно, когда оба – лидеры или творцы. Пастернак в ответ на шуточный совет жениться на Цветаевой с содроганием говорил: “Не дай Бог. Марина – это же концентрат женских истерик”. И это при всём их запредельном понимании душевных глубин друг друга, многолетней переписке на самой высокой ноте. Марина была влюблена в Пастернака, он единственный, кто соответствовал масштабу её личности, градусу её чувств и страстей.

В мире, где всяк сгорблен и взмылен,
знаю, один мне равносильен.
В мире, где столь многого хотим,
знаю, один мне равномогущен.
В мире, где всё – плесень и плющ,
знаю, один ты равносущ
мне.

В письме Черновой-Колбасиной Цветаева пишет: “Мне нужен Пастернак – Борис – на несколько вечерних вечеров – и на всю вечность. Если меня это минует – то жизнь и призвание – всё впустую”. Но в этом же письме отрезвлённо сознаёт: “Наверное, минует. Жить я бы с ним всё равно не сумела, потому что слишком люблю”. И когда Пастернак несколько лукаво спрашивает у неё в письме, когда ему к ней приехать, сейчас или через год (когда любят – не спрашивают!), Цветаева великодушно отпускает его. (Знает – всё равно бы не приехал).

Из письма Пастернака Цветаевой: “Не старайся понять. Я не могу писать тебе, и ты мне не пиши... Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно... Я тебе не могу рассказать, зачем так и почему. Но так надо”.

Из письма Цветаевой Пастернаку: “Уходя со станции, садясь в поезд – я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала”.

Кого же взяли они с собой, в свою реальную жизнь, эти гениальные люди? Марина – С. Эфрона, неудавшегося писателя, актёра массовок, дилетанта во всех областях жизни, великодушно умевшего прощать все её влюблённости и измены. Пастернак – Зинаиду Нейгауз, красавицу, которая “прекрасна без извилин”. (Ахматова охарактеризовала её более жёстко: “Зина – дракон на восьми лапах, грубая, плоская, воплощённое антиискусство”). Что же это, слепота, ослеплённость плотью и статью (“красавица моя, вся статья, вся суть твоя мне по сердцу”)? Или инстинкт поэтического выживания, самосохранения?

Зинаида Николаевна прекрасно вела дом, умело организовывала быт,

необходимые условия для работы поэта, в доме царили чистота, идеальный порядок, неукоснительно соблюдался режим. Вкусные обеды, хрустящее от крахмала бельё, ухоженный сад, послушные дети – всё было на её плечах. Она была образцовой женой и хозяйкой, и Пастернак очень ценил это в ней. Настолько, что посвятил ей бессмертные строчки:

И я б хотел, чтоб после смерти,
как мы замкнёмся и уйдём,
тесней, чем сердце и предсердье,
зарифмовали нас вдвоём.

Это их-то зарифмовали?! – с ужасом думала я, когда читала насквозь бытовые, приземлённые письма З. Нейгауз Пастернаку. Контраст с его письмами – разителен. Никаких философских глубин, лирических всплесков, – бытовые заботы, демонстративная отстранённость от жизни мужа. Когда на вечере поэта просили почитать стихи, он обращался поверх голов к своей Зине, сидевшей в зале: “Что мне почитать, Зинуша?” – “А я почём знаю?” – пожимала плечами жена.

Как могли сосуществовать “в одной берлоге” два столь разных человека? Она не понимала его стихов и бесцеремонно говорила об этом при всех, безапелляционно советуя поэту писать “попроще”. А Пастернак только смеялся, обещая, что для неё он готов это сделать.

И ведь в самом деле! “Второе рождение” написано совсем другим языком – ясным, прозрачным. С этой книги начинается то, что мы зовём “поздним Пастернаком”, когда он впадает, “как в ересь, в неслыханную простоту”. Ранний Пастернак – это сгущённая метафоричность, эксцентрика, упругий ритм, бурная стихия. Поздний порывается исправить раннего, словно стесняясь его бормотания, сумбура, непричёсанного словаря. Поздний Пастернак – строг и точен, подтянут и классичен. Он понятен. Понятно, как это сделано. Ушло ощущение чуда, волшебства, ушла непредсказуемость, обаяние юности. Появились дидактические нотки: “Быть знаменитым – некрасиво”, “не спи, не спи, художник”. Но и поздний Пастернак был для З. Нейгауз так же безнадёжно далёк, как и ранний.

Далека от идеала и другая избранница поэта – золотоволосая Лара – Ольга Ивинская. Лживая, алчная, обворовывавшая людей, сидевших с ней в лагере, женщина, которую ни Ахматова, ни Лидия Чуковская, ни множество других порядочных людей не пускали на порог своего дома. После смерти Пастернака Ивинская, как бы в ответ на все эти обвинения, писала в стихах:

И скажу я тебе, вздыхая,
в беспощадном сверканье дня:
пусть я грешная, пусть плохая,
ну а ты ведь любил меня!

Да, он любил, не верил плохому, что ему говорили о ней. Поэты способны любить созданный в их воображении образ, мало имеющий общего с реальностью. Как пел Вертинский: “Я могу из падали создавать поэмы, я могу из горничных делать королев”. Он продолжал видеть в ней своё.

Когда наше пушкиноведение клеймило Наталью Гончарову как недостойную подругу поэта, Пастернак, видимо, находя в этом какую-то аналогию с собой, писал: “Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щёголеве и позднейшем пушкиноведении, и всё было бы в порядке”.

Сейчас мы уже далеки от ханжества тех времён, давно не считая Наталью Гончарову злодейкой, сгубившей поэта, но и теперь нам трудно понять, как мог Пушкин любить этот “чистейшей прелести чистейший образец” (в этом определении есть что-то дистиллированное, в сущности, это та же красота “без извилин”). Цветаева пишет: “Гончарова вышла за Пушкина без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодоухотворённой плоти – шаг куклы!” И если Пастернак любил свою неодоухотворённую супругу за то, что она давала ему возможность оставаться собой, заниматься творчеством, не отвлекаясь на быт, то Пушкин, по меткому замечанию Дарьи Финкельмон, “переставал быть поэтом в её присутствии”. Если Пастернак и Зинаиде продолжал писать на той же высокой духовной ноте, что и Цветаевой, нимало не смущаясь тем, что они говорят с ней на разных языках, то письма Пушкина Натали не сравнить с его же письмами Воронцовой, Сабаньской или Керн, полными страсти, огня, поэзии, – они нудные, нравоучительные, прозаичные. Он пишет ей, как ребёнку, инструктируя, что делать и чего не делать: “платишь деньги, кто только не попросит, этак хозяйство не пойдёт... Не сиди, поджавши ноги, и не дружись с графинями, с которыми нельзя кланяться в публице... На хоры не ездят – это не место для тебя”. Пушкин не говорит с женой в письмах ни о литературе, ни о творчестве, а пишет о том, что ей может быть интересно, что доступно её разумению: сплетни, деньги, куда ехал, что сломалось в экипаже, кого встретил, что съел и был ли понос.

Письма Натали к нему до нас не дошли, но, судя по обиженным и недовольным ответам Пушкина, были сухи, лаконичны, формальны. Более того, она не всегда их и писала-то сама: когда была невестой, то ей их диктовала мать. “Письма Ваши короче визитной карточки”, – упрекает её Пушкин. А Вяземскому жалуется: “Что у неё за сердце? Твёрдую дубовой корою, тройным булатом грудь её вооружена”.

К поэзии, литературе Натали была глубоко равнодушна. Но, не интересуясь стихами, строго следила за тем, сколько ему за них платят, вмешиваясь в переговоры с книгопродавцами и требуя высоких гонораров. И что, с такой женщиной поэт мог быть счастлив? Хотя бы теоретически? Мне кажется, и не будь Дантеса, этот брак был бы обречён. Если нет гармонии в отношениях, понимания главного в человеке – не может быть и счастья. “Ведь счастье – это когда тебя понимают”.

Читаю у Бориса Рыжего в стихах, посвящённых жене Ирине:

Ни разу не заглянула ни
в одну мою тетрадь.
Тебе уже вставать, а мне
пора ложиться спать.

А то б взяла стишок и так
сказала мне: дурак,
тут что-то очень Пастернак,
фигня, короче, мрак.

За шутливым укором, иронией, скрывается горечь. Жена ни разу (!) не заглянула в тетрадь поэта, талантливейшего поэта, надо добавить. Неужели же эта нравственная глухота лучше второго “медведя” в твоей берлоге, который, по крайней мере, “поймёт всё то, чем ты живёшь” по принципу: “рыбак рыбака видит издалека”?

Но и союзы между поэтами редко приносили счастье. Не ужились Ахматова с Гумилёвым, с Шилейко, Евтушенко с Ахмадулиной, Яшин не ушёл из семьи к Тушиновой, Блок не полюбил Кузьмину-Караваеву, несмотря на её стихи и письма, которые, кажется, тронули бы и камень, а чем закончилась любовь Николая Рубцова с Людмилой Дербиной – страшно вспомнить.

Однако бывают и счастливые исключения. Бывают медведи, прекрасно уживающиеся в одной берлоге. Д. Мережковский и З. Гиппиус, которые за всю свою долгую жизнь ни разу не расставались и ни одной ночи не провели врозь. Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал, которым любить друг друга не мешал даже третий лишний, чей союз выдерживал все многочисленные влюблённости и романы на стороне и только крепче от этого становился.

Брачный союз Ф. Сологуба и А. Чеботаревской был на редкость слаженным и цельным. Они даже называли друг друга одним именем: “Малим” – именем, никому более не принадлежащим, как бы ниспосланным из лучшего мира:

В небе ангелы сложили
имя сладкое Малим
и вокруг него курили
ароматом неземным.

Сладкий звук, знакомый зорям,
чародейное питьё.
За него мы не поспорим,
чьё оно, моё, твоё?

Блок писал, что, “женившись и обрившись (Сологуб сбрил бороду), Сологуб разучился по-сологубовски любить Смерть и ненавидеть жизнь”. Он посвятил жене книгу стихов “Одна любовь”, которая открывалась строчками:

Ты только для меня. На мраморе иссечен
двойной завет пути; и светел наш удел.
Здесь наш союз несокрушимо вечен,
он выше суетных, земных, всегдашних дел.

Цикл “Свирель” (27 стихотворных стилизаций в духе французской пасторальной поэзии) был написан Сологубом, чтобы, по его словам, “её позабавить”. Уезжая в турне читать лекции, Сологуб из каждого города писал письма “своей малимочке” с подробным отчётом о своих делах и впечатлениях.

Чеботаревская много сделала для пропаганды творчества Сологуба: составила объёмистый сборник статей о нём, объединив статьи из разных журналов, написала биографический очерк о Сологубе для истории новейшей русской литературы, её стараниями осуществлялись литературные диспуты, вечера, на которых Сологуб оказывался в центре внимания, она была настоящим его ангелом-хранителем. Можно сказать, весь жизненный путь Сологуба разделяется на два основных отрезка – до встречи с Анастасией Чеботаревской и после заключения с ней брачного союза. До 1908 года жил и работал писатель Ф. Сологуб, а после 1908 года определилось новое жизненное и творческое двуединство: Ф. Сологуб и А. Чеботаревская.

Сологуб очень тяжело переживал самоубийство жены. Он написал посвящённый ей цикл “Анастасия”, который по своей пронзительной проникновенности напоминает реквием.

Весь мир окутан знойным бредом,
но из ущелий бытия
к тебе стремлюсь я верным следом,
любовь единая моя.

Он был с ней по-настоящему счастлив. Правда, в Неву Анастасия бросилась от тоски по другому, но Сологуб этого, к счастью, так никогда и не узнал.

Г. Иванов и И. Одоевцева поженились в сентябре 1921 года и прожили вместе 37 лет, до самой смерти Г. Иванова. В молодости тот имел репутацию избалованного женским вниманием сердцеда, пресыщенного и слишком ленивого, чтобы терпеливо ухаживать за юной девушкой. Никто, да и сам он никогда не думал, что окажется способен на такой порыв душевной теплоты, такую сумасшедшую нежность:

Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,
весточка, царापинка, снежинка, ручеёк.
Нежности последыш, нелепости приёмыш,
кофе-чай-сахарный потерянный паёк.

Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
в одеяльной одури, в подушечной глуши,
белочка, метёлочка, косточка, утёнок,
ленточкой, верёвочкой, чулочком задуши.

Вспоминая Г. Иванова, Одоевцева определила их отношения строками из стихотворения их ближайшего друга Г. Адамовича:

Брезжил над нами какой-то особенный свет,
какое-то лёгкое пламя, которому имени нет.

Они встретились впервые в Летнем саду. Эту встречу Ирина Одоевцева будет вспоминать потом в стихах до мельчайших подробностей:

Но была ли на самом деле
эта встреча в Летнем саду
в понедельник, на Вербной неделе,
в девятьсот двадцать первом году?

Я пришла не в четверть второго,
как условлено было, а в пять.
Он с улыбкой сказал: “Гумилёва
Вы бы вряд ли заставили ждать”.

Я смутилась. Он поднял высоко,
чуть прищурившись, левую бровь.
И – ни жалобы, ни упрёка.
Я подумала: это любовь.

Летний сад – это не только место их свиданий и прогулок их юности, на чужбине он стал ностальгической грёзой двух поэтов, образом того потерянного рая, потерянного мира, куда они всю жизнь мечтали вернуться.

И опять в романтическом Летнем саду,
в голубой белизне петербургского мая,
по пустынным аллеям неслышно пройду,
драгоценные плечи твои обнимая, –

писал Г. Иванов. Он продолжал и в старости любить Ирину Одоевцеву с той же страстью, мучительной нежностью и тоской, что и в молодые годы. И в его поздних, предсмертных стихах ему удалось с удивительной непосредственностью и убедительностью передать и выразить то мучение любви, сплетённое со счастьем, то “блаженство и безнадежность”, которые в старости, по Тютчеву, обостряются до крайности и по существу друг от друга неотделимы.

В этом томном, глухом и торжественном мире нас двое,
больше нет никого. Больше нет ничего. Погляди:
потемневшее солнце трепещет, как сердце живое,
как живое влюблённое сердце, что бьётся в груди.

...Утомительный день утомительно прожит,
голова тяжела, а над ней
розовеет закат – о, последний, быть может,
всё нежней, и нежней, и нежней...

И то, что они оба были поэты – только сближало их.

Ивана Елагина (настоящая фамилия Матвеев) в 1937 году свела судьба с талантливой, мало известной у нас поэтессой Ольгой Анстей (Штейнберг). В одном из писем она писала о своём будущем муже: “Он так же сумасшедше, сомнамбулически живёт стихами, как и я. Читаю свои стихи, он – свои, потом он мои на память, а потом мы оба взапуски, взхлёб – кто во что горазд – всех поэтов – от Жуковского до Ходасевича и Пастернака”. В июне 1938 года Иван и Ольга тайно в два часа ночи обвенчались в церкви. Из стихов О. Анстей:

Я человека в подарок получила,
целого, большого, с руками и ртом!
Он ест, сопит, и что бы ни спросила –
он помолчит и ответит потом.

Я в тёплые волосы ему подышала,
никогда обещала ему не врать,
на него одного смотреть обещала,
а больше не знаю, как с ним играть!

У Елагина в поэме “Память” тоже есть строки о ней:

В годы те была моей женой
Анстей. И её стихи со мной.

Их близость была так велика, что они даже стихи писали вместе, один мог за другого продолжить начатую строчку. В 1943 году Иван и Ольга издали совместный поэтический сборник, отпечатанный на машинке. На обороте титульного листа был обозначен “тираж”: “в количестве 1 экз., из коих один нумерованный”, а на обложке поставили – О. Анстей и И. Елагин. Сборник этот по сей день хранится в США. (Кстати, Анстей – первый поэт, которая написала о зверствах фашизма в Бабьем яру. Многие считают, что первыми об этом сказали И. Эренбург, Л. Озеров, Е. Евтушенко, но это была О. Анстей, и написала она об этом еще в декабре 1941 года. Только тогда точное место расстрела было неизвестно, и стихотворение Анстей было названо “Кирилловские яры” – по названию всего района, где немцы ликвидировали заключённых).

День Победы застал Матвеевых неподалёку от Мюнхена, в казарме “для перемещённых лиц”. В комнате, отгороженной от общего барака серыми одеялами, началась для Матвеевых послевоенная жизнь. Елагин писал об этом:

А мы уже в сотом доме
маемся кое-как.
Нет для нас дома, кроме –
тебя, дощатый барак!

Мой дом – берлога,
мой дом – нора,
где над порогом –
тень топора.

В августе 48-го Ольга Анстей уходит от мужа к другому, эмигранту первой волны князю Николаю Кудашеву. У Елагина есть пронзительные строки об этом:

Так же звёзды барахтались в озере,
был и месяц – такой же точь-в-точь.
Разметала последние козыри
перед нами любовная ночь.

Если б знать, что дано нам выгореть,
что любовь уплывёт на плоту,
что у дома простая изгородь
проведёт между нами черту,

что дорога разлук неминуема,
что она уже рядом легла,
я убил бы тебя поцелуями,
я бы сжёг наше детство дотла.

В 1950 году, вскоре после приезда в США, Матвеевы развелись. Но та духовная связь, что их объединила, не прерывалась.

Сверкают ресторанные хлева
копеечным, заученным весельем.
Я прав, что я один. И ты права,
что эту ночь с тобою мы не делим!

И я, в моей кромешной маете,
и ты, в своём скитании бессонном –
Медведицу отыщем в высоте,
заломленную гневно над Гудзоном.

Мы правы, друг от друга отстранясь,
упившись каждый собственной мукой.
Что может быть сильнее, чем эта связь,
пронизанная звёздной разлукой?

В 1951 году О. Анстей выходит замуж за поэта, прозаика и литературоведа Бориса Филиппова. Елагин откликается на это событие стихами, по которым видно, что он всё ещё любит её, что замужество бывшей жены причиняет ему боль.

Отпускаю в дорогу, с Богом!
Отдаю тебя всем дорогам,
всем обманывающим и сулящим,
по которым мы жизни тащим.
Отдаю и реке, и саду,
и скамье, где с тобой не сяду,
и кусту отдаю, и оврагу,
и траве, где с тобой не лягу,
и предутреннему перрону,
где, прощаясь, тебя не трону.
Отдаю всем заливам синим,
где мы в воду камней не кинем,
всем перилам и всем оградкам,
где с тобой не застынем рядом.
Отдаю тебя всем соблазнам,
встречам лёгким, весёлым, праздным,
и печальным горячим встречам
в час, когда защититься нечем.

Однако и этот брак Ольги оказался неудачным, он продлился менее года. Она, по-видимому, жалела впоследствии о своём уходе, поняв, что никто ей не может заменить Ивана. И, наверное, вернулась бы к нему, но у Елагина была уже другая семья. Об этом говорят её стихи, написанные незадолго до смерти:

Я примирилась в сущности с судьбой,
я сделалась уступчивой и гибкой.
Перенесла – что не ко мне – к другой
твоё лицо склоняется с улыбкой.

Не мне в тот зимний именинный день
скоблённый стол уставить пирогами,
не рвать с тобою мокрую сирень
и в жёлтых листьях не шуршать ногами.

Но вот когда подумаю о том,
что в немощи твоей, твоём закате
со шприцем, книжкой, скатанным бинтом –
другая сядет у твоей кровати,

не звякнув ложечкой, придвинет суп,
поддерживая голову, напоит,
предсмертные стихи запишет с губ
и гной с предсмертных пролежней обмоет –

и будет, став в ногах, крестясь, смотреть
в помолодевшее лицо – другая...
О Боже мой, в мольбе изнемогаю:
дай не дожить... Дай прежде умереть.

Бог услышал её молитвы, дал умереть прежде. На книге “По дороге оттуда” (1953) Елагин проставил посвящение: “О.А.” – Ольге Анстей. Хотел подготовить к печати сборник её стихов. Не успел – помешала смерть.

Поэты редко пишут о счастливой любви, тем более – о любви семейной. К таким редким исключениям относится и петербургский поэт Александр Кушнер. Когда в разговоре с ним И. Бродский посетовал, что его одолевают письмами поклонницы, и спросил, не пишут ли Кушнеру женщины такие письма, тот ответил: “Нет. По моим стихам видно, что я люблю свою жену”. Жена А. Кушнера Елена Невзглядова – поэт, филолог, литературовед. Её научные работы об интонационной теории стиха, опубликованные в толстых журналах, стали событием в отечественном литературоведении. Они женаты уже более тридцати лет, у них взрослый сын, но стихи Кушнера, посвящённые жене, по-прежнему дышат юношеским восторгом и первозданностью чувства:

Я и сегодня люблю тебя так,
как я любил тебя в восьмидесятом...

х х х

Какое счастье, благодать,
ложиться, укрываться,
с тобою рядом засыпать,
с тобою просыпаться.

...Всю ночь в наш сон ломился гром,
всю ночь он ждал ответа:
какое счастье – сон вдвоём,
кто нам позволил это?

х х х

Вот счастье – с тобой говорить, говорить, говорить!
Вот радость – весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью...

Ещё более трогателен союз поэтов – Инны Лиснянской и Семёна Липкина. Их стихи – как зеркало, что не может солгать, отражая суть их отношений, правду чувства. Прожив вместе полвека, они сумели сохранить пылкость и свежесть юношеской любви.

Я курю фимиам, а он пенится, словно шампунь,
я купаю тебя в моей глубокой любви... –

пишет И. Лиснянская в стихах 2001 года. Она посвящает Липкину книгу под названием “Гимн”, где все стихи – во славу любимого.

У тебя в глазах вековечный растаял лёд,
у меня в глазах вековая застыла темь.
По-научному мы как будто – с катодом анод,
по-народному мы – неразлучны, как свет и тень.

х х х

Я – твоя Суламифь, мой старый царь Соломон...

Оказывается, и в 75 можно любить, восхищаться, ревновать.

В уходящую спину смущённо смотрю из окна...
Твоя ревность и трогательна, и смешна.
Неужели не видишь, что я и стара, и страшна,
и помимо тебя никому на земле не нужна?

Но это не кажется смешным и нелепым, когда читаешь стихи Лиснянской и Липкина, посвящённые друг другу, а вызывает чувство белой зависти и радости за их счастье.

Ничего из любви и в старости не ушло:
ты, как прежде, нежности шепчешь мне на ушко,
и, как Парка вдевает нитку судьбы в ушко,
так в кольцо обручальное я продеваю строку
и восторг прикрепляю к рифмованному узелку:
не встречала прекрасней тебя никого на своём веку!

В 2003 году Семёна Липкина не стало. Книга И. Лиснянской “Без тебя” (2004) – обнажённый нерв расставания, сплошной крик боли. Здесь все стихи посвящены его памяти. Они рождены в порыве избыть, выплакать неостывшее горе.

Я оплачу тебя под напев былинный,
под горчайший напев, но славный,
я оплачу тебя, как Христа Магдалина,
и как Игоря Ярославна.

“Эта книга писалась мной в великой скорби”, – слова автора с форзаца издания. Говорить о таких стихах со стороны невозможно, о них нужно судить уже в другой системе координат.

И мне, так долго живущей,
простит овдовевший стих,
который мычит, скорбя,
мычит из последних сил,
что он воскресит тебя,
как Лазаря воскресил.

Вот пример того, что два медведя не только ужились в одной берлоге, но не могут жить друг без друга. И мне кажется, это высший пилотаж, высшая степень счастья – когда встретишь своего второго Медведя. И тогда, как в сказке Шварца, он обернётся для тебя прекрасным принцем.